

ЭДВАРД БЕЛЛАМИ



ВЗГЛЯД НАЗАД

МИР СЛЕПОГО



Классика утопической фантастики

Эдвард Беллами

Взгляд назад

<https://litres.ru/74193602>

SelfPub; 2026

Аннотация

Представьте, что вы засыпаете в XIX веке, а просыпаетесь через сто лет — в мире, где больше нет частной собственности, денег, бедности и классовой борьбы, а доступ к благам равен для каждого. Это происходит с Джулианом Вестом в романе «Взгляд назад» (1888). Книга, разошедшаяся при жизни автора миллионными тиражами и переведённая на десятки языков, стала хитом, идеологическим манифестом для целого поколения, породившим политические клубы по всему миру.

Рассказ «Мир слепого» — иная грань таланта Беллами. Профессор астрономии мысленно переносится на Марс и встречает там расу, способную предвидеть судьбу. Они не знают страха, боли расставания — и называют Землю «Миром слепого», ведь люди бредут во тьме, не зная будущего.

Эти два произведения, как две стороны медали: в «Взгляде назад» Беллами с надеждой смотрит в грядущее, в «Мире слепого» — с грустью на наше неведение. Но вместе они задают один и тот же вопрос: что мы можем знать о завтрашнем дне и что готовы сделать, чтобы он стал лучше?

Содержание

От составителя	4
Предисловие автора	7
Глава 1	10
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Эдвард Беллами

Взгляд назад

От составителя

Эдвард Беллами (1850–1898) — американский журналист и писатель, чьё имя сегодня известно в основном специалистам, а ведь в конце XIX века он был одной из самых читаемых фигур в мире. Его роман «Взгляд назад» (1888) разошёлся в первые же годы тиражом более 300 000 экземпляров только в США и Великобритании, выдержал более трёхсот изданий в Америке и был переведён на все европейские языки. Максим Горький в 1906 году говорил американским читателям: «Эдвард Беллами и его теории в книге "Через сто лет" известны каждому русскому студенту». Роман переводили на русский одиннадцать раз — и это был не просто литературный успех, а настоящий культурный феномен, породивший десятки клубов последователей в США и оказавший влияние на реформаторские движения по всему миру.

«Взгляд назад» — утопия. Герой романа, состоятельный бостонец Джулиан Вест, в 1887 году погружается в гипнотический сон и просыпается в 2000 году, в мире, где капитализм остался в прошлом, промышленность национализирована, деньги упразднены, а все люди равны в достатке. Бел-

лами не просто описал идеальное общество — он дал читателям конца XIX века надежду, что хаос и несправедливость их времени не вечны. Сегодня, когда мы живём в году, который для героя был далёким будущим, читать эту книгу особенно любопытно: одни предсказания Беллами оказались поразительно точными (например, прообраз кредитной карты), другие — наивными, но главное остаётся неизменным: вопрос о том, каким может и должен быть справедливый общественный строй, не потерял остроты.

Второе произведение сборника — рассказ «Мир слепого» (1898), написанный в год смерти автора. Это философская фантазия, в которой профессор астрономии, вглядываясь в Марс, переносится сознанием на красную планету и встречается там расу, наделённую даром предвидения. Марсиане знают свою судьбу наперёд — и потому не знают ни страха, ни надежды, ни боли расставания. Жизнь на Земле, где человек не ведаёт даже завтрашнего дня, кажется им почти невыносимой: они называют наш мир «Миром слепого». Этот короткий, но ёмкий рассказ — своего рода обратная сторона «Взгляда назад»: если в романе Беллами смотрит в будущее с надеждой, то здесь он смотрит на само наше неведение как на трагедию, обрекающую человечество на вечную неуверенность.

Вместе два этих текста составляют диптих о времени и человеческой слепоте — о том, что мы не видим ни своего будущего, ни самих себя со стороны. Беллами не был великим

стилистом, его проза — это прежде всего идеи, облечённые в доступную форму. Но эти идеи оказались настолько заразительными, что изменили умы целого поколения. Спустя более чем столетие они звучат не как устаревший архив, а как приглашение к разговору: что мы можем знать о завтрашнем дне и что мы готовы сделать, чтобы он стал лучше?

Наслаждайтесь путешествием.

ВЗГЛЯД НАЗАД

Из 2000 в 1887 год

Эдвард Беллами

Предисловие автора

Исторический факультет, Колледж Шоумут, Бостон,
26 декабря 2000 года

Нам, людям конца двадцатого столетия, живущим при общественном устройстве настолько простом и разумном, что оно кажется лишь торжеством здравого смысла, – нам, если мы специально не изучали историю, вероятно, трудно осознать, что нынешний общественный строй в его завершённом виде существует менее ста лет. Однако едва ли найдётся исторический факт, установленный лучше, чем тот, что почти до самого конца девятнадцатого века почти все были убеждены: старая промышленная система, со всеми её чудовищными социальными последствиями, обречена – возможно, с некоторыми поправками – просуществовать до окончания времён. И как странно, почти невероятно кажется теперь, что столь огромный нравственный и материальный переворот мог совершиться за такой короткий срок! Трудно сыскать более разительный пример тому, как легко люди привыкают к улучшениям своей жизни – как к чему-то само собой разумеющемуся, – которые до того, как сбылись, казались пределом человеческих мечтаний. Какая мысль лучше охладила бы пыл реформаторов, рассчитывающих на награду в виде живой благодарности грядущих веков!

Цель этой книги – помочь тем, кто хочет составить се-

бе более отчётливое представление о социальных контрастах между девятнадцатым и двадцатым веками, но пугается сухости исторических трудов на эту тему. Собственный преподавательский опыт убедил автора, что учение редко кажется приятным занятием; поэтому он постарался смягчить назидательность книги, облекши её в форму романтического повествования, которое, как ему хочется надеяться, не вовсе лишено занимательности и само по себе.

Читатель, для которого современные общественные институты и их основополагающие принципы давно стали привычными, возможно, временами найдёт объяснения доктора Лита довольно избитыми; но должно помнить, что для гостя доктора Лита они отнюдь не были само собой разумеющимися, а эта книга писалась с прямой целью побудить читателя на время забыть, что для него они таковы. И ещё одно слово. Почти всеобщей темой писателей и ораторов, прославлявших эту двухтысячелетнюю эпоху, было будущее, а не прошлое; не достигнутый прогресс, а прогресс, который ещё предстоит достичь; всегда вперёд и вверх, покуда род человеческий не свершит своей невыразимой судьбы. Это хорошо, это очень хорошо, но мне кажется, что нигде мы не найдём более прочной почвы для дерзновенных предвидений человеческого развития в течение следующей тысячи лет, чем оглянувшись назад на прогресс последней сотни лет.

В надежде, что этой книге суждено найти благосклонных

читателей, чей интерес к предмету склонит их не взыскивать за недостатки изложения, автор отступает в сторону и предоставляет слово мистеру Джулиану Уэсту.

Глава 1



Я родился в Бостоне в 1857 году.

«Что? — скажете вы. — Восемнадцать пятьдесят семь? Странная оговорка. Он, конечно, имеет в виду тысяча девятьсот пятьдесят седьмой».

Прошу прощения, но никакой ошибки нет. Именно двадцать шестого декабря, около четырёх часов пополудни, на следующий день после Рождества, в году 1857-м, а не 1957-м, я впервые вдохнул пронизывающий восточный ветер Бостона. Уверяю читателя: в ту отдалённую эпоху он отличался той же ледяной остротой, что и в нынешнем благословенном 2000 году.

С первого взгляда эти утверждения кажутся настолько нелепыми — особенно когда я добавляю, что я молодой человек, на вид лет тридцати, — что никто не упрекнёт читателя, если он откажется читать дальше то, что обещает быть всего лишь обманом его доверчивости. Тем не менее искренне заверяю: никакого обмана не замышляется. И берусь, если он последует за мной несколько страниц, полностью его в этом убедить.

Итак, если я могу предположить — с обещанием оправдать это предположение, — что я лучше читателя знаю, когда родился, я продолжу своё повествование.

Любому школьнику известно, что в последней части девятнадцатого века нынешней цивилизации, или хотя бы че-

го-то похожего на неё, не существовало. Правда, зачатки, из которых ей предстояло развиваться, уже теплились. Однако ничто не изменило исконного деления общества на четыре класса, или, как их можно было бы точнее назвать, нации, — потому что различия между ними были куда больше, чем между любыми современными нациями. Я говорю о богатых и бедных, образованных и невежественных.

Я сам был богат и к тому же образован, а следовательно, обладал всем, что тогда считалось счастьем. Живя в роскоши, занимаясь лишь погоней за удовольствиями и утончённостями жизни, я существовал за счёт труда других, не оказывая взамен никакой службы. Мои родители и деды жили так же, и я ожидал, что мои потомки, если они у меня будут, станут наслаждаться столь же лёгким существованием.

«Но как ты мог жить, не принося пользы миру? — спросите вы. — Почему мир должен был содержать в совершенной праздности того, кто способен был приносить пользу?»

Ответ таков: мой прадед скопил сумму денег, на которую его потомки с тех пор и жили. Естественно, эта сумма должна была быть очень велика, чтобы не истощиться, содержа три поколения в безделье. Однако это было не так. Сумма изначально была отнюдь не велика. Более того, после того как три поколения прожили на неё в праздности, она стала куда больше, чем вначале.

Эта загадка — пользование без потребления, тепло без горения — кажется волшебством. Но это было лишь искус-

ным применением искусства, ныне, к счастью, утраченного, а тогда доведённого вашими предками до большого совершенства. Искусства перекладывать бремя собственного содержания на плечи других. Человек, достигший этого, считался живущим на доход от своих вложений — а именно к этому стремились все. Объяснять здесь, каким образом старинные способы производства делали это возможным, заняло бы слишком много времени. Сейчас замечу только, что проценты на вложения были своего рода вечной податью с продукта занятых в промышленности. Эту подать мог взимать человек, владеющий деньгами или унаследовавший их.

Не следует думать, что устройство, столь неестественное и нелепое по современным понятиям, никогда не подвергалось критике вашими предками. Законодатели и пророки с древнейших времён пытались отменить проценты или хотя бы ограничить их самой низкой ставкой. Однако все эти попытки проваливались — как и должно было проваливаться, пока сохранялись древние общественные уклады. Во время, о котором я пишу, в конце девятнадцатого века, правительства в основном вовсе перестали пытаться регулировать этот вопрос.

Желая дать читателю некоторое общее представление о том, как люди жили вместе в те дни, и особенно об отношениях между богатыми и бедными, я, пожалуй, лучше всего сделаю это, сравнив тогдашнее общество с огромной каретой. В эту карету впряжены людские массы и тащат её с тру-

дом по очень холмистой и песчаной дороге. Возница — голод — не позволял отставать, хотя скорость по необходимости была очень мала. Несмотря на трудность тащить карету по такой тяжёлой дороге, наверху сидели пассажиры, которые никогда не слезали, даже на самых крутых подъёмах. Эти места наверху были очень ветрены и удобны. Высоко над пылью их обладатели могли наслаждаться пейзажем в своё удовольствие или критически обсуждать достоинства надрывающейся упряжки.

Естественно, такие места пользовались большим спросом, и конкуренция за них была ожесточённой: каждый стремился добыть себе место в карете и оставить его своему ребёнку. По правилам кареты человек мог оставить своё место кому пожелает. Но, с другой стороны, множество случайностей могло лишить этого места в любой момент. При всей своей лёгкости места были очень ненадёжны. При каждом резком толчке кареты люди выскальзывали из них и падали на землю, где их мгновенно принуждали ухватиться за верёвку и помогать тащить карету, на которой они раньше так приятно ехали. Естественно, потерять своё место считалось ужасным несчастьем. Боязнь, что это может случиться с ними или их друзьями, была постоянным облаком, омрачавшим счастье тех, кто ехал.

Но думали ли они только о себе? — спросите вы. Разве сама их роскошь не делалась для них невыносимой от сравнения с участью их братьев и сестёр в упряжке? Разве их

не мучило сознание, что их собственный вес прибавляет тем труда? Неужели они не сострадали собратьям, от которых их отличала только судьба?

О да. Сострадание часто выражалось теми, кто ехал, к тем, кто вынужден был тащить карету. Особенно когда повозка попадала в плохое место на дороге — что случалось постоянно, — или на особенно крутой подъём. В такие минуты отчаянное напряжение упряжки, их мучительные прыжки и метания под беспощадными ударами голода, люди, падавшие в обморок у верёвки и топтаемые в грязи, — всё это представляло собой весьма тягостное зрелище. Оно часто вызывало весьма искренние проявления сочувствия наверху кареты. В такие минуты пассажиры ободряюще кричали вниз труженикам у верёвки, призывая их к терпению и суля возможное вознаграждение в ином мире за тяжесть их участи. Другие жертвовали на мази и притирания для искалеченных и ушибленных. Все соглашались, что очень жаль, что карету так трудно тащить. И чувствовалось общее облегчение, когда особо скверный участок дороги оставался позади.

Впрочем, это облегчение объяснялось не только заботой об упряжке. На этих плохих местах всегда существовала опасность общего опрокидывания, при котором все потеряли бы свои места.

Надо признаться, что главным действием зрелища страданий тружеников у верёвки было усиление у пассажиров чувства ценности их мест в карете и побуждение держаться за

них ещё отчаяннее, чем прежде. Если бы пассажиры могли быть уверены, что ни они, ни их друзья никогда не упадут с верха, весьма вероятно, что, помимо взносов в фонд притираний и бинтов, они чрезвычайно мало беспокоились бы о тех, кто тащил карету.

Я хорошо понимаю, что людям двадцатого века это покажется невероятной бесчеловечностью. Но есть два факта, оба весьма любопытные, которые отчасти это объясняют.

Во-первых, тогда твёрдо и искренне верилось, что общество не может существовать иначе: многие должны тянуть верёвку, немногие — ехать. И не только это: верилось, что даже сколько-нибудь радикальное улучшение невозможно — ни в упряжи, ни в карете, ни в дороге, ни в распределении труда. Так было всегда и так будет всегда. Это было жаль, но ничего нельзя было поделать, и философия запрещала тратить сострадание на то, что не подлежит исцелению.

Другой факт ещё более любопытен. Он состоит в странном наваждении, которому обычно подвержены те, кто наверху кареты, — что они не совсем похожи на своих братьев и сестёр, тянущих верёвку, а из лучшей глины, в некотором роде принадлежат к высшему разряду существ, которые вправе ожидать, что их будут везти. Это кажется необъяснимым, но я сам ехал в этой самой карете и разделял это наваждение — стало быть, мне следует верить. Самое странное в этом наваждении было то, что те, кто только что взобрался с земли, ещё не успев стереть с рук следы от верёвки, уже

начинали подпадать под его влияние. Что же до тех, чьи родители и деды ещё раньше имели счастье удержаться наверху, то их убеждение в существенном различии между их родом человечества и обыкновенным товаром было абсолютным. Влияние такого самообмана на смягчение сочувствия к страданиям большинства людей — до отвлечённого, философского сожаления — очевидно. Я ссылаюсь на это как на единственное смягчающее обстоятельство, которое могу предложить в оправдание равнодушия, каким во время, о котором я пишу, было отмечено моё собственное отношение к страданиям моих братьев.

В 1887 году мне исполнилось тридцать лет. Хотя я ещё не был женат, я был помолвлен с Эдит Бартлетт. Она, как и я, ехала наверху кареты. То есть, чтобы не обременять себя далее иллюстрацией, которая, надеюсь, уже послужила своей цели — дала читателю общее представление о том, как мы жили тогда, — её семья была богата. В ту эпоху, когда одни лишь деньги давали всё, что было приятно и изысканно в жизни, женщине достаточно было быть богатой, чтобы иметь женихов. Но Эдит Бартлетт была также красива и грациозна.

Мои читательницы, я знаю, запротестуют против этого. «Возможно, она была хороша собой, — слышу я их слова, — но грациозна — никогда. В костюмах, бывших тогда в моде, когда головной убор представлял собой головокружительную конструкцию в фут высотой, а почти невероятное расширение юбки сзади с помощью искусственных приспособ-

соблений обезличивало фигуру сильнее, чем любое прежнее изобретение портных. Представьте себе кого-то грациозным в таком наряде!»

Замечание бесспорно справедливое. Я могу лишь ответить, что, хотя дамы двадцатого века служат прелестным доказательством того, как уместная драпировка оттеняет женские прелести, мои воспоминания об их прабабушках позволяют мне утверждать: никакое уродство костюма не может их полностью скрыть.

Наша свадьба откладывалась только до завершения дома, который я строил для нашего проживания в одной из самых желанных частей города. То есть в той части, которую населяли преимущественно богатые. Ибо следует понимать: сравнительная желательность разных районов Бостона для проживания зависела тогда не от природных особенностей, а от характера окрестного населения. Каждый класс, каждая нация жили обособленно, в своих кварталах. Богатый человек среди бедных, образованный среди невежественных был подобен живущему в изоляции среди враждебного и чуждого племени.

Когда дом был заложен, предполагалось закончить его к зиме 1886 года. Однако весной следующего года он всё ещё не был достроен, и моя женитьба оставалась делом будущего. Причиной задержки, которая должна была быть особенно невыносима для пылкого влюблённого, была серия забастовок. То есть согласованных отказов от работы со сто-

роны каменщиков, плотников, маляров, водопроводчиков и других ремёсел, связанных со строительством домов. Каковы были конкретные причины этих забастовок — я не помню. Забастовки стали в то время настолько обычным делом, что люди перестали интересоваться их частными поводами. В той или иной отрасли промышленности они происходили почти непрерывно с великого делового кризиса 1873 года. Фактически стало исключением видеть какой-либо разряд рабочих, занимающихся своим ремеслом неуклонно дольше нескольких месяцев подряд.

Читатель, заметивший упомянутые даты, разумеется, узнает в этих промышленных волнениях первую, бессвязную фазу великого движения, завершившегося установлением современной промышленной системы со всеми её социальными последствиями. В ретроспективе всё это так ясно, что и ребёнок поймёт. Но, не будучи пророками, мы в те дни не имели ясного представления о том, что с нами происходит. Мы видели только, что в промышленном отношении страна находилась в весьма странном положении. Отношения между рабочим и работодателем, между трудом и капиталом — по какой-то необъяснимой причине — казалось, расстроились. Рабочие классы внезапно и очень широко охватило глубокое недовольство своим положением и убеждение, что его можно изменить к лучшему, если только знать, как за это взяться. Со всех сторон, единодушно, они выдвигали требования повышения платы, сокращения

часов, улучшения жилья, лучших образовательных возможностей и доли в изысканности и роскоши жизни. Требованиям этим, казалось, невозможно было удовлетворить, если только мир не станет значительно богаче, чем был тогда.

Хотя они знали, чего хотят, они не знали, как этого достичь. Пылкий энтузиазм, с которым они толпились вокруг всякого, кто казался способным пролить на это хоть какой-то свет, принёс скорую известность многим потенциальным вождям. Некоторые из них и сами имели мало света, чтобы дать. Как бы химеричны ни казались устремления трудящихся классов, преданность, с которой они поддерживали друг друга в забастовках — их главным оружием, — и жертвы, на которые они шли ради их проведения, не оставляли сомнений в их смертельной серьёзности.

Что касается окончательного исхода рабочих волнений — так обычно называли движение, мною описанное, — мнения людей моего класса расходились в зависимости от индивидуального темперамента. Оптимисты весьма убедительно доказывали, что по самой природе вещей новые надежды рабочих не могут быть удовлетворены, просто потому, что мир не имел средств их удовлетворить. Только потому, что массы работали очень тяжело и жили впроголодь, род человеческий не вымирал с голоду. Никакое значительное улучшение их положения было невозможно, пока мир в целом оставался таким бедным. Не с капиталистами, утверждали они, борются рабочие, а с железными оковами человеческого суще-

ствования. Это лишь вопрос толщины их черепов, когда они обнаружат этот факт и решатся смириться с тем, чего не могут исцелить.

Пессимисты признавали всё это. Конечно, стремления рабочих невозможно осуществить по естественным причинам. Но есть основания опасаться, что они не обнаружат этого факта, пока не устроят в обществе основательный переполох. У них есть голоса и власть сделать это, если захотят, и их вожди намерены этого добиться. Некоторые из этих унылых наблюдателей заходили так далеко, что предсказывали грядущий социальный катаклизм. Человечество, рассуждали они, взобравшись на верхнюю ступень лестницы цивилизации, готовится нырнуть головой в хаос, после чего, без сомнения, поднимется, повернётся и начнёт взбираться снова. Многократные повторения такого рода в исторические и доисторические времена, возможно, объясняют загадочные шишки на человеческом черепе. История человечества, как и все великие движения, циклична и возвращается к исходной точке. Идея бесконечного прогресса по прямой линии — химера воображения, не имеющая аналогии в природе. Парабола кометы, пожалуй, лучше иллюстрирует судьбу человечества. Стремясь вверх и к солнцу от афелия варварства, род людской достигает перигелия цивилизации, чтобы лишь рухнуть вновь вниз, к своей нижней цели, в области хаоса.

Это, конечно, было крайнее мнение. Но я помню серьёзных людей среди моих знакомых, которые, обсуждая знаме-

ния времени, придерживались весьма схожего тона. Это было, без сомнения, общим мнением мыслящих людей, что общество приближается к критическому периоду, который может привести к великим переменам. Рабочие волнения, их причины, ход и исцеление занимали первое место среди всех прочих тем в публичной печати и в серьёзных разговорах.

Нервное напряжение умов публики не могло быть более разительно проиллюстрировано, чем тревогой, вызванной разговорами небольшой кучки людей, называвших себя анархистами. Они предлагали запугать американский народ до принятия их идей угрозами насилия, как будто могучая нация, только что подавившая восстание половины собственного населения ради сохранения своего политического строя, способна принять новую общественную систему из страха.

Как один из богатых, с большим интересом в существующем порядке вещей, я, естественно, разделял опасения моего класса. Особая обида, которую я питал к рабочим классам во время, о котором пишу, из-за того, что их забастовки откладывали моё супружеское блаженство, несомненно, придавала моим чувствам к ним особую враждебность.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.